Образы и звуки

1

Началось все со случайного разговора в вагоне метро, вдохновенного и ни к чему не обязывающего. Это был девяностый год, когда жизнь, уподобляясь Протею, меняла очертания прямо на глазах, когда самые безумные проекты заслоняли собой реальность и становились единственной реальностью для их создателей. Поэтому мысль о едином гуманитарном курсе не показалась моему собеседнику чем-то из ряда вон, скорее, наоборот, она была вполне в ряду идей о социализме с человеческим лицом и свободной экономике. Потом к автору проекта ЕГК присоединились еще четыре оголтелых энтузиаста («Маньяки!» - как сказала бы одна моя бывшая ученица) и ребенок начал расти: от маленького красного непрерывно орущего и ничего не умеющего существа до вполне симпатичного розовощекого крепыша, пусть еще беспокойного и шаловливого, но уже подающего большие надежды. Потом волею обстоятельств число маньяков удвоилось, и к этому крепышу добавился еще один, побольше весом, погромче кричащий, но тоже, кажется, приобретающий уже розовощекость и талантами не обделенный (К ужасу родителей, первыми сказанными им словами были не «мама» или «папа», а «аблятивус базис». Откуда он их взял? В семье так если и ругались, то очень редко).

Пытаясь проследить родословную ребенка и выходя из тьмы мифологического времени, наполненного кошмарами, битвами с драконом, философскими спорами с Бабой Ягой и всякой другой нечистью, мы оказываемся в 1986 году, в физ-мат школе № 542, куда автор данных размышлений попал после окончания физфака МГУ. Голова его кружилась от всяких романтических идей о свободе и братстве, от обещаний времени, рисующем перед ним картины одна краше другой, и поэтому он сначала организовал в школе гитарный кружок, где разучивал с детьми песни о милых его сердцу свободе и братстве, а потом, объединившись с еще двумя учителями, - реставрационный клуб «Заостровье».

Сейчас непросто объяснить, что это такое. Дело в том, что во второй половине восьмидесятых отечественная интеллигенция, открывая для себя находящееся в забвении прошлое и пытаясь найти в нем новую точку опоры, обратила внимание на его материальное воплощение, исковерканное и опахабленное советской властью, - храмы и монастыри. Стоящие в запустении, превращенные в склады, клубы, мастерские, а то и просто в свалки, заваленные всяким хламом, они молчаливо просили о помощи. Их зов был услышан - и многочисленные добровольцы в свои выходные и отпуска „вместо благоустройства огородов, дач и квартир ж занялись разбором завалов, выносом строительного мусора, в общем, грязной, неквалифицированной работой (квалифицированную они делать не умели). После того как первые завалы были разобраны, их деятельность потеряла, видимо, практический смысл; часто работяги-прорабы, не имея моральных сил остановить этот порыв стихийного энтузиазма, придумывали своим добровольным помощникам работу по типу «сегодня мы переносим доски из подвала на чердак, а через неделю - из чердака в подвал».

Мы подключились к этому движению в его начале и прожили вместе с ним и недолгий расцвет, и долгое угасание. Хотя уже через год стало очевидным, что не работа для нас главное, что она составляет лишь одно из условий, но не основу нашего быта. Просто звезды расположились так, что нам почему-то хорошо вместе, и это ощущение полноты жизни, не подчиняющейся никакой логике, не требующей для себя обоснования и оправдания, передавалось всем, кто ездил с нами. Как это обычно и бывает, осмысление пришло после, когда все уже кончилось, когда музыканты закончили импровизировать и разошлись по домам. Позволю себе привести небольшую статью девяностого года, еще сохранившую дух легкости и задора, но уже наполненную этим ощущением конца:

Есть вещи, очевидные для всех здравомыслящих людей. Ну, например, что человек не умеет летать, но ходить умеет (и плавать при желании может научиться). Или что

натощак можно съесть лишь одно яйцо, а два уже нельзя. К числу таких истин, называемых трюизмами, относится и то, что историю школы № 542 невозможно представить без клуба «Заостровъе». Однако писать о клубе очень сложно: он не втискивается в традиционные рамки, его жизненное пространство плохо описывается на обычном языке. Действительно, если люди ходят в походы, это предполагает вполне определенное мироощущение и связанную с ним систему знаков, через которую эти люди выражают свое мироощущение («лесные» люди - городские люди и т.д.). Об этом можно спорить, это можно отстаивать, - здесь есть повод для разговора. Или люди приходят на реставрационные воскресники, летом работают на восстановлении церквей, - здесь есть цель, о которой можно говорить, здесь образ жизни тоже становится поводом для вопроса, для дискуссии. С тех же позиций можно говорить о людях, участвующих в движении КСП. Мы в клубе ,вроде бы, занималисъ и тем, и другим, и третьим, однако попытка выразить сущность клуба на языке «целей и задач» изначально обречена на провал: внутреннее у нас достаточно сильно расходилось с внешним, главным для клуба всегда были люди, а не идеи. Поэтому я в этой статье не буду использовать стандартный «официальный» язык, а также не буду рассказывать многочисленные заостровские «байки», я буду говорить о вещах, вроде бы не имеющих непосредственного отношения к клубу, но понятных большинству и глубже всего раскрывающих его внутреннюю суть.

Мераб Мамардашвили, один из немногих в нашей стране в послевоенное время подлинных философов, писал как-то, что окружающая его жизнь поражает своей ирреальностью. Люди спорят о несуществующих вещах, говорят на нелепом до парадоксальности языке, действуют под влиянием иллюзорных факторов. Наткнувшись на эти слова, я сразу вспомнил о школе и своих учениках.

Их школьное бытие является характерным примером этой ирреальности. Сегодня ты лихорадочно готовишься к сдаче зачета, контрольной, «хвоста», все твое существование сегодня определяется тем, что завтра спросят, а потом предмет сдан - и в сознании не остается ничего, вообще ничего, вакуум, т.е. то, что вчера было определяющим, сегодня просто исчезает из памяти, как мираж, оказывается иллюзией, пассом какого-то циничного и грубоватого фокусника. Человек живет в этом иллюзорном мире, но, пока он не узнает, что есть что-то другое, что можно жить, а не быть действующим лицом в театре абсурда, он спокойно и даже без тени сомнений делает то, что от него требуется. Но если он какое-то время жил, то странность окружающего мира режет ему глаза, мир становится неуютным для него. И даже если он захочет забыть о той жизни, у него это не получится так просто, воспоминания будут периодически настигать его и прорываться из подсознания в сознание (перефразируя Окуджаву, "я и рад бы забыть, да вот не могу"). Эта ситуация описывается, в общем-то, знаменитой платоновской метафорой пещеры, только она еще более напряженна и трагична: Платон говорил о тенях реальных объектов, здесь же речь идет о призраках, после исчезновения которых не остается буквально ничего. Точнее, пожалуй, здесь будет образ Цинцинната из набоковского "Приглашения на казнь": человек, живущий в пошлом до омерзения, иллюзорном мире, несет где-то в последних своих глубинах смутно осознаваемую и тщательно скрываемую ото всех крупицу бытия, которая делает в итоге этот мир невозможным для него и его -невозможным для этого мира.

Так вот, в клубе мы **жили.** И это главное, все остальное вторично. Причем особенно отчетливо это ощущается именно сейчас: наше тогдашнее существование прошло проверку временем и осело в памяти необычайно плотным "сгустком бытия". Наша жизнь строилась как бессознательно, но удивительно последовательно проводимая антитеза обыденности, противоположность "здравому смыслу". Я думаю, что нормальный человек, съездив хотя бы в одну из наших поездок, счел бы нас за (какое бы слово помягче подобрать) ... чудаков. Ив этом есть своя правда. Если нормальный мир ирреален, то реальный, "всамделишный" мир должен быть ненормальным по определению. Эта ненормальность проступала в самых разных моментах; крайне мало здравого смысла имела наша работа, день и ночь в наших поездках постоянно менялись местами, наши традиции поражали сверхвысокой степенью дебилъности (Чего стоит, например, обычай кричать "ура" в четверть четвертого ночи!). Во всей этой жизни было, конечно, много самолюбования, мальчишества, пижонства. Свобода часто била через край. Но была во всем этой какая-то детская полнота счастья, полнота времени, когда мир лежит на ладони, как спелое яблоко, и ты ощущаешь его плотность и спелость. Не случайно в памяти от наших поездок остались не слова и не идеи, а набор ярких, наполненных светом картин, похожих на те, что обычно остаются от детства.

Сейчас приходит пора, "когда нужно вслушиваться и молчать". Время растаскивает нас по разным углам, старые связи слабеют и все труднее сопротивляться бешеному потоку несущейся мимо жизни. Мне больно видеть, как некоторые "клубовцы" "покупаются" на дешевые посулы (хотя жить, не "покупаясъ", сейчас очень тяжело) и предпочитают иллюзию бытию. Я вижу, как трудно живут другие, какую цену приходится им платить за право оставаться собой. А будущее впереди темно и непредсказуемо. Но мне почему-то часто в последнее время приходят на ум заключительные строчки из уже упоминавшегося набоковского романа:

"Мало что оставалось от площади. Помост давно рухнул в облаке красноватой пыли. Последней промчалась в шали женщина, неся на руках маленького палача, как личинку. Свалившиеся деревья лежали плашмя, без всякого рельефа, а еще оставшиеся стоять, тоже плоские, с боковой тенью по стволу для иллюзии круглоты, едва держались ветвями за рвущиеся ветки неба. Все расползалось. Все падало. Винтовой вихрь забирал и крутил пыль, тряпки, крашеные щепки, мелкие обломки позлащенного гипса, картонные кирпичи, афиши; летела сухая мгла; и Цинциннат пошел среди пыли, и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему."

Вот так. А потом было несколько лет потерянности и пустоты, которая наступает после смерти близкого тебе человека: не больно, а просто пусто и неуютно. Все как-то разбрелись, и оказалось, что ненасытный демон с лицом Прокруста, в которое мы так задорно смеялись в наших поездках, ожидает и за школьными стенами. И если пять лет вуза еще давали возможность прятать от него взгляд (клуб жил, пока его «ветераны» не закончили институты), то потом отступать уже было некуда. Этот демон обращался к каждому, и речь его звучала софистически выверенно и точно: он говорил о том, что надо содержать семью, устраиваться в жизни, что глупо быть неудачником, на которого все показывают пальцем и жалеют (способный человек, мог бы, но, увы, ...), что свобода быть собой - в наше время непозволительная роскошь и т.д. И вдруг оказалось, что большинству на эти аргументы ответить нечего, что, когда школьные репетиции главного спектакля уже окончились и началась премьера, в которой за каждое слово приходилось платить немыслимой раньше ценой, не оказаться банкротами смогли единицы.

2

Когда я думаю, как лучше всего передать главный итог этого «клубного» периода моей жизни, мне приходит на память одна незатейливая история. После 542 школы я работал в Химическом лицее, недалеко от метро «Шаболовская». Прямая дорога к лицею проходила через территорию какого-то техникума, дорога в обход занимала минут на пять больше. Разумеется, лицеисты (да и не только они) сновали туда-сюда под окнами директора техникума, которому это зрелище не доставляло почему-то глубокого эстетического наслаждения. Несколько раз он пытался перекрыть проход железной оградой, но всегда находились альтруисты, радеющие о народном благе. Они выламывали в решетке прутья, и все повторялось опять. Я застал однажды двух таких альтруистов, которые с огнем в глазах рассказывали, как приехали в семь утра, за два часа до занятий, как работали эти два часа не покладая рук, чтобы дать возможность себе и своим собратьям поспать на пять минут дольше, и гордо показывали всем лом - «орудие пролетариата». Этот заочный спор продолжался года три, и вот уже казалось, что враг побежден, что достигнута полная и окончательная победа, но тут директор поднакопил деньжат и перекрыл дорогу трехметровой стеной.

Когда после окончания институтов первые мои ученики были выброшены в большую жизнь, они столкнулись с такой вот стеной и им осталось только развести руками. Ни перелезать через нее, ни делать в ней проломы они не умели. Для нас в клубе, действительно, главным были люди, а не идеи, и мы вполне в духе немецких романтиков играли в каждую из этих идей, ни одну не принимая всерьез. Наш путь напоминал затянувшееся путешествие дилетантов, а, чтобы иметь право на свободу (теперь я понимаю это отчетливо, как никогда), надо быть профессионалом.

Из этого стремления к профессионализму, профессионализму в тех вещах, о которых мы говорили с пиетическим восторгом, толком ничего в них не понимая, и вырос сначала единый гуманитарный курс, а потом и отделение теории и истории мировой культуры. В клубе мы сознательно уходили от абсурда повседневной школьной жизни (в конце советской эпохи в этой жизни и правда было много абсурдного), - теперь, кажется, появилась возможность извести этот абсурд «на корню» и **жить** не за пределами школьных стен, а внутри них. **Жить** на уроках, на лекциях и семинарах (хотя и в поездках тоже), понимая, что Чаадаев и Достоевский, Платон и Кант - не мертвое знание (прошел и забыл), а способ понимания себя, материя сопротивления все нарастающей энтропии внешнего мира и отстаивания собственной свободы.

Зрелость, ведь, в том, наверное, и состоит, чтобы перейти от свободы бить посуду и свободы не спать ночей к свободе быть собой и не покупаться на посулы времени. В ней есть то удивительное соединение, когда ты уже что-то знаешь и еще что-то можешь, и радостно на душе не от грез о будущем счастье, а от сознания спокойно, изо дня в день делаемого дела.

Но это я о нас, об «отцах-командирах» и их боевых подругах. А войско наше так же молодо, как и пятнадцать лет назад, и хотя и снятся бойцам иногда по ночам трансцендентальные субъекты, они произносит задорное «чур меня!», переворачиваются на другой бок и продолжают спать здоровым, не отягощенным метафизическими кошмарами сном. Будильник утром им не помеха...